

Гадюка

Когда появлялась Ольга Вячеславовна, в ситцевом халатике, непричесанная и мрачная на кухне все замолкали, только хозяйственно, прочищенные, полные керосина и скрытой ярости, шипели примусы. От Ольги Вячеславовны исходила какая-то опасность. Один из жильцов сказал про нее:

Бывают такие стервы со взведенным курком... От них подальше, голубчики... С кружкой и зубной щеткой, подпоясанная мохнатым полотенцем, Ольга Вячеславовна подходила к раковине и мылась, окатывая из-под крана темноволосую стриженую голову. Когда на кухне бывали только женщины, она спускала до пояса халат и мыла плечи, едва развитые, как у подростка, груди с коричневыми сосками. Встав на табуретку, мыла красивые и сильные ноги. Тогда можно было увидеть на ляжке у нее длинный поперечный рубец, на спине, выше лопатки, розово-блестящее углубление выходной след пули, на правой руке у плеча небольшую синеватую татуировку. Тело у нее было стройное, смуглое, золотистого оттенка.

Все эти подробности хорошо были изучены женщинами, населявшими одну из многочисленных квартир большого дома в Зарядьи. Портниха Марья Афанасьевна, всеми печенками ненавидевшая Ольгу Вячеславовну, называла ее клейменная. Роза Абрамовна Безикович, безработная, муж ее проживал в сибирских тундрах, буквально чувствовала себя худо при виде Ольги Вячеславовны. Третья женщина, Соня Варенцова, или, как ее все звали, Лялечка, премиленькая девица, служившая в Махорочном тресте, уходила из кухни, заслышав шаги Ольги Вячеславовны, бросала гудевший примус... И хорошо, что к ней симпатично относились и Марья Афанасьевна и Роза Абрамовна, иначе бы кушать Лялечке чуть не каждый день пригоревшую кашу.

Вымывшись, Ольга Вячеславовна взглядывала на женщин темными, дикими глазами и уходила к себе в комнату, в конце коридора. Примуса у нее не было, и как она питалась поутру в квартире не понимали. Жилец Владимир Львович Понизовский, бывший офицер, теперь посредник по купле-продаже антиквариата, уверял, что Ольга Вячеславовна поутру пьет шестидесятиградусный коньяк. Все могло стать. Вернее примус у нее был, но она от человеконенавистничества пользовалась им у себя в комнате, покуда распоряжением правления жилтоварищества это не было запрещено. Управдом Журавлев, пригрозив Ольге Вячеславовне судом и выселением, если еще повторится это антипожарное безобразие, едва не был убит: она швырнула в него горящим примусом, хорошо, что он увернулся, и покрыла

матом, какого он отродясь не слышал даже и в праздник на улице. Конечно, керосинка пропала.

В половине десятого Ольга Вячеславовна уходила. По дороге, вероятно, покупала бутерброд с какой-нибудь собачьей радостью и пила чай на службе. Возвращалась в неопределенное время. Мужчины у нее никогда не бывали. Осмотр ее комнаты в замочную скважину не удовлетворял любопытства: голые стены ни фотографий, ни открыток, только револьверчик над кроватью. Мебели пять предметов: два стула, комод, железная койка и стол у окна. В комнате иногда бывало прибрано, шторка на окне поднята, зеркальце, гребень, два-три пузырька в порядке на облупленном комоде, на столе стопка книг и даже какой-нибудь цветок в полубутылке из-под сливок. Иногда же до ночи все находилось в кошмарнейшем беспорядке: на постели, казалось, бились и метались, весь пол в окурках, посреди комнаты горшок. Роза Абрамовна охала слабым голосом:

Это какой-то демобилизованный солдат; ну, разве это женщина?

Жилец Петр Семенович Морш, служащий из Медснабторга, холостяк с установившимися привычками, однажды посоветовал, хихикая и блестя черепом, выкурить Ольгу Вячеславовну при помощи вдутия через бумажную трубку в замочную скважину граммов десяти иодоформу: Живое существо не может вынести атмосферы, отравленной иодоформом. Но этот план не был приведен в исполнение, побоялись.

Так или иначе, Ольга Вячеславовна была предметом ежедневных пересудов, у жильцов закипали мелкие страсти, и не будь ее в квартире, пожалуй, стало бы совсем скучно. Все же в глубь ее жизни ни один любопытный глаз проникнуть не мог. Даже постоянный трепет перед ней безобиднейшей Сонечки Варенцовой оставался тайной.

Лялечку допрашивали, она трясла кудрями, путала что-то, сбивалась на мелочи. Лялечке, если бы не носик, быть бы давно звездой экрана. В Париже из вашего носа, говорила ей Роза Абрамовна, сделают конфету... Да вот, поедешь тут в Париж, ах, бог мой!.. На это Соня Варенцова только усмехалась, розовели щеки, жадной мечтой подергивались голубые глазки... Петр Семенович Морш выразился про нее: Ничего девочка, но дура... Неправда! Лялечкина сила и была в том, чтобы казаться дурой, и то, что в девятнадцать лет она так безошибочно нашла свой стиль, указывало на ее скрытый и практический ум. Она очень нравилась пожилым, переутомленным работой мужчинам, ответственным работникам, хозяйственникам. Она возбуждала из забытых глубин улыбку нежности. Ее хотелось взять на колени и, раскачиваясь, забыть грохот и вонь города, цифры и бумажный шелест канцелярии. Когда она, платочком вытерев носик, пряменько садилась за пишущую машинку, в угрюмых помещениях Махорочного треста на грязных

обоях расцветала весна. Все это ей было хорошо известно. Она была безобидна, и действительно, если Ольга Вячеславовна ненавидела ее, значит тут скрывалась какая-то тайна.

В воскресенье, в половине девятого, как обычно, скрипнула дверь в конце коридора, Соня Варенцова уронила блюдечко, тихо ахнула и помчалась из кухни. Было слышно, как она затворилась и всхлипнула. В кухню вошла Ольга Вячеславовна. У рта ее, сжатого плотно, лежали две морщинки, высокие брови сдвинуты, цыганское худое лицо казалось больным. Полотенце изо всей силы стянуто на талии, тонкой, как у осы. Не поднимая ресниц, она открыла кран и стала мыться, набрызгала лужу на полу... А кто будет подтирать? Мордой вот сунуть, чтобы подтерла, хотела сказать и промолчала Марья Афанасьевна. Вытерев мокрые волосы, Ольга Вячеславовна окинула темным взглядом кухню, женщин, вошедшего в это время с черного хода низенького Петра Семеновича Морша с куском ситного в руках, бутылкой молока и отвратительной, вечно дрожащей собачонкой. Сухие губы у него ядовито усмехнулись. Горбоносый, похожий на птицу, с полуседой бородкой и большими желтыми зубами, он воплощал в себе ничем не поколебимое тэкс, тэкс, поживем увидим... Он любил приносить дурные вести. На кривых ногах его болтались грязнейшие панталоны, надеваемые им по утренним делам. Затем Ольга Вячеславовна издала странный звук горлом, будто все переполнявшее ее вырвалось в этот не то клекот, не то обрывок горестного смеха.

Чорт знает, что такое, проговорила она низким голосом, перемахнула через плечо полотенце и ушла. У Петра Семеновича на пергаментном лице проступила удовлетворенная усмешечка.

У нашего управдома с перепою внезапно открылось рвение к чистоте, сказал он, спуская на пол собаку. Стоит внизу лестницы и утверждает, что лестница загажена моей собакой. Это, он говорит, ее кало. Если ваша собака будет продолжать эти выступления на лестнице возбужу судебное преследование. Я говорю: Вы не правы, Журавлев, это не ее кало... И так мы спорили, вместо того чтобы ему мести лестницу, а мне итти на службу. Такова русская действительность...

В это время в конце коридора опять послышалось: Ах, это чорт знает что! и хлопнула дверь. Женщины на кухне переглянулись. Петр Семенович ушел кушать чай и менять домашние брюки на воскресные. Часы-ходики на кухне показывали девять.

В девять часов вечера в отделение милиции стремительно вошла женщина. Коричневая шапочка в виде шлема была надвинута у нее на глаза, высокий воротник пальто закрывал шею и подбородок; часть лица, которую можно было рассмотреть, казалась покрытой белой пудрой. Начальник отделения,

вглядываясь, обнаружил, что это не пудра, а бледность, в лице ее не было ни кровинки. Прижав грудь к краю закапанного чернилами стола, женщина сказала тихо, с каким-то раздирающим отчаянием:

Идите на Псковский переулок... Там я натворила, и сама не знаю что... Я сейчас должна умереть...

Только в эту минуту начальник отделения заметил в ее посиневшем кулаке маленький револьвер, велодок. Начальник отделения перекинулся через стол, схватил женщину за кисть руки и вырвал опасную игрушку.

А имеется у вас разрешение на ношение оружия? для чего-то крикнул он.

Женщина, закинув голову, так как ей мешала шляпа, продолжала бессмысленно глядеть на него. Ваше имя, фамилия, адрес? спросил он спокойнее.

Ольга Вячеславовна Зотова...

Десять лет тому назад в Казани загорелся среди бела дня на Проломной улице дом купца второй гильдии, старообрядца Вячеслава Илларионовича Зотова. Пожарные обнаружили в первом этаже два трупа, связанные электрическими проводами: самого Зотова и его жены, и наверху бесчувственное тело их дочери Ольги Вячеславовны, семнадцатилетней девицы, гимназистки. Ночная рубашка на ней была в клочьях, руки и шея изодраны ногтями; все вокруг указывало на отчаянную борьбу. Но бандиты, повидимому, не справились с ней или, торопясь уходить, только пристукнули здесь же валявшейся гирькой на ремешке.

Дом отстоять не удалось, все зотовское имущество сгорело дотла. Ольгу Вячеславовну отнесли в госпиталь, ей пришлось вправить плечо, зашить кожу на голове. Несколько дней она пролежала без сознания. Первым впечатлением ее была боль, когда меняли повязку. Она увидела сидевшего на койке военного врача с добрыми очками. Тронутый ее красотой, доктор зашикал на нее, чтобы она не шевелилась. Она протянула к нему руку: Доктор, какие звери! и залилась слезами.

Через несколько дней она сказала ему:

Двоих не знаю, какие-то были в шинелях... Третьего знаю. Танцевала с ним... Валька, гимназист... Я слышала, как они убивали папу и маму... Хрустели кости... Доктор, зачем это было! Какие звери!

Шш, шш, испуганно шипел доктор, и глаза его были влажны за очками.

Олечку Зотову никто не навещал в госпитале, не такое было время, не до того: Россию раздирала гражданская война, прочное житье трещало и разваливалось, неистовой яростью дышали слова декретов белых афишек, пестревших всюду, куда ни покосись прохожий. Олечке оставалось только плакать целыми днями от нестерпимой жалости (в ушах так и стоял страшный

крик отца: Не надо!, звериный вопль матери, никогда в жизни так не кричавшей), от страха как теперь жить, от отчаяния перед этим неизвестным, что гремит и кричит и стреляет по ночам за окнами госпиталя.

За эти дни она, должно быть, выплакала все слезы, отпущенные ей на жизнь. Оборвалась ее беспечальная, бездумная молодость. Душа покрылась рубцами, как заживленная рана. Она еще не знала, сколько таилось в ней мрачных и страстных сил.

Однажды в коридоре на лавку рядом с ней сел человек с подвязанной рукой. Он был в больничном халате, подштанниках и шлепанцах, и все же горячее, веселое здоровье шло от него, как от железной печки. Едва слышно он насвистывал Яблочко, пристукивая голыми пятками. Серые ястребиные глаза его не раз перекатывались в сторону красивой девушки. Загорелое широкое лицо, покрытое на скулах никогда не бритой бородкой, выражало беспечность и даже лень, только жестки, жестки были ястребиные глаза.

Из венерического? спросил он равнодушно.

Олечка не поняла, потом вся залилась возмущением:

Меня убивали, да не убили, вот почему я здесь. Она отодвинулась, задышала, раздувая ноздри.

Ах ты, батюшки, вот так приключение! Должно быть, было за что. Или так бандиты? А?

Олечка уставилась на него, как он мог так спрашивать точно о самом обыкновенном, ради скуки...

Да вы не слыхали, что ли, про нас? Зотовы, на Проломной?

А, вот оно что! Помню... Ну, вы бой-девка, знаете, не поддались... (Он наморщил лоб.) Этот народ надо в огне жечь, в котле кипятить, разве тогда чего-нибудь добьемся... Столько этого гнусного элемента вылезло, больше, чем мы думали, руками разводим. Бедствие. (Холодные глаза его оглянули Олечку.) Вот вы, конечно, революцию только так воспринимаете, через это насилие... А жалко. Сами-то из старообрядцев? В бога верите? Ничего, это обойдется. (Он кулаком постучал о ручку дивана.) Вот во что надо верить в борьбу.

Олечка хотела ответить ему что-нибудь злое, безусловно справедливое, ото всей своей зотовской разоренности; но под его насмешливо ожидающим взглядом все мысли поднялись и опали, не дойдя до языка.

Он сказал:

То-то... А горяча лошадка! Хороших русских кровей, с цыганщиной... А то прожила бы, как все, жизнь просмотрела в окошко из-за фикусов... Скука.

А это веселее, что сейчас?

А то не весело? Надо когда-нибудь и погулять, не все же на счетах щелкать...

Олечка опять возмутилась, и опять ничего не сказалось, передернула

плечами: уж очень он был уверен... Только проворчала:

Город весь разорили, всю Россию нашу разорите, бесстыдники...

Эта штука Россия... По всему миру собираемся на конях пройти... Кони с цепи сорвались, разве только у океана остановимся... Хочешь, не хочешь гуляй с нами.

Наклонившись к ней, он оскалился, диким весельем блеснули его зубы. У Олечки закружилась голова, будто когда-то она уже слышала такие слова, помнила этот оскал белых зубов, будто память вставала из тьмы ее крови, стародавние голоса поколений закричали: На коней, гуляй, душа!..

Закружилась голова, и опять: сидит человек в халате с подвязанной рукой... Только горячо стало сердцу, тревожно, чем-то этот сероглазый стал близок... Она насупилась, отодвинулась в конец скамейки. А он, насвистывая, опять стал притоптывать пяткой...

Разговор был короткий, скуки ради в больничном коридоре. Человек посвистал и ушел. Ольга Вячеславовна даже имени его не узнала. Но когда на другой день она опять села на ту же скамейку и оглянулась в глубь душного коридора, и старательно перебирала в мыслях, что ей нужно высказать убедительное, очень умное, чтобы сбить с него самоуверенность, и он все не шел, вместо него ковыляли какие-то на костылях, вдруг ей стало ясно, что она ужасно взволнована вчерашней встречей.

После этого она ждала, быть может, всего еще минутку, слезы навернулись от обиды, что вот ждет, а ему и дела мало. Ушла, легла на койку, стала думать про него самое несправедливое, что только могло взбрести в голову. Но чем же, чем он взволновал ее?

Сильнее обиды мучило любопытство, хоть мельком еще взглянуть: да какой же он? Да и нет ничего в нем... Миллион таких дураков... Большевик, конечно... Разбойник... А глаза-то, глаза наглые... И мучила девичья гордость: о таком весь день думать! Из-за такого сжимать пальцы!

Ночью весь госпиталь был разбужен. Бегали доктора, санитары, волокли узлы. Сидели на койках испуганные больные. За окнами гремели колеса, раскатывалась бешеная ругань. В Казань входили чехи. Красные эвакуировались. Все, кто мог уйти, покинули госпиталь, Ольга Вячеславовна осталась, про нее не вспомнили.

На рассвете в больничном коридоре громыхали прикладами грудастые, чисто, по-заграничному, одетые чехи. Кого-то волокли, срывающийся голос помощника заведующего завопил: Я подневольный, я не большевик... Пустите, куда вы меня?.. Двое паралитиков подползли к окошку, выходящему во двор, сообщили шопотом: В сарай повели вешать сердешного...

Ольга Вячеславовна оделась, на ней было казенное серенькое платье, бинт на голове прикрыла белой косынкой. Над городом плыл праздничный звон

колоколов. Занималась заря. Слышалась, то громче, то замирая, военная музыка входящих полков. Вдали за Волгой раскатывался удаляющийся гром пушек.

Ольга Вячеславовна вышла из палаты. На завороте в коридоре ее остановил патруль, два на низком ходу усатых чеха, пршикая и шипя, потребовали, чтобы она вернулась. Я не пленница, я русская, сверкая глазами, крикнула им Ольга Вячеславовна. Они засмеялись, протянули руки ущипнуть за щеку, за подбородок... Но не лезть же ей было грудью на два лезвия опущенных штыков. Она вернулась, раздувая ноздри, села на койку, от мелкой дрожи постукивала зубами.

Утром больные не получили чаю, начался ропот. В обеденный час чехи взяли пять человек ампутированных красноармейцев. Паралитики у окна сообщили, что сердешных повели в сарай. Затем в палату вошел русский офицер, высоко подтянутый ремнем, в широких, как крылья летучей мыши, галифе. Больные потянули на себя одеяла. Он оглядел койки, прищуренные глаза его остановились на Ольге Вячеславовне. Зотова? спросил он. Следуйте за мной... Он точно летел на крыльях галифе, звонкие шпоры его наполняли чоканьем пустой коридор.

Нужно было проходить через двор. В это время из подъезда, куда ее вели, вышел кудрявый юноша в русской вышитой рубашке, как-то мимолетом, надевая картуз, взглянул на нее и поторопился к воротам... Ольга Вячеславовна споткнулась... Ей показалось... Нет, этого не могло быть... Она вошла в приемную и села у стола, глядя на военного с длинным, искривленным, как в дурном зеркале, лицом. Глядел и он на нее разноглазыми глазами.

И вам не стыдно, дочери уважаемого в городе человека, интеллигентной девушке, связаться со сволочью? услышала она его уккоризненный голос, презрительно налегающий на гласные.

Она сделала усилие понять что он говорит. Какая-то настойчивая мысль мешала ей сосредоточиться. Вздохнув, она сжала руки на коленях и принялась рассказывать все, что с ней случилось. Офицер медленно курил, навалившись на локоть. Она кончила. Он перевернул лист бумаги, под ней лежала карандашная записочка.

Наши сведения не совсем совпадают, сказал он, задумчиво морща лоб.

Хотелось бы услышать от вас кое-что о вашей связи с местной организацией большевиков. Что? Угол рта его пополз вверх, брови перекинулись.

Ольга Вячеславовна со страхом наблюдала ужасающую асимметрию его чисто выбритого лица...

Да вы... Я не понимаю... Вы с ума сошли...

К сожалению, у нас имеются неопровержимые данные, как это ни странно.

(Он держал папиросу на отлете, покачиваясь, пустил струйку дыма, нельзя было придумать ничего более салонного, чем этот человек.) Ваша искренность подкупает... (Колечко дыма.) Будьте же искренни до конца, дорогая... Кстати: ваши друзья, красноармейцы, умерли героями. (Один пегий глаз его устремился куда-то в окно, откуда видны ворота сарая) Итак, мы продолжаем молчать? Ну, что ж...

Взявшись за ручки кресла, он обернулся к чехам:

Битте, прошу...

Чехи подскочили, приподняли Ольгу Вячеславовну со стула, провели по ее бокам, по груди, удовлетворенно поводя усами, щупали, искали под юбкой карманы. Он глядел, приподнявшись, расширив разные глаза. Ольга Вячеславовна задохнулась. Румянец, пожар крови залил ее щеки. Вырвалась, вскрикнула...

В тюрьму! приказал офицер.

Два месяца Ольга Вячеславовна просидела в тюрьме, сначала в общей камере, потом в одиночке. В первые дни она едва не сошла с ума от навязчивой мысли о воротах сарая, припертых доской. Она не могла спать: во сне ее горло опутывалось веревкой.

Ее не допрашивали, никто ее не вызывал, о ней точно забыли. Понемногу она начала размышлять. И вдруг точно книга раскрылась перед ней: все стало ясно. Тот, кудрявый, в вышитой рубашке, был действительно Валька, убийца: она не ошиблась... Боясь, что она донесет, он поторопился оговорить ее: карандашная записочка была его доносом...

Ольга Вячеславовна могла сколько угодно метаться, как пума, по одиночной камере: на ее страстные просьбы (в глазок двери) видеть начальника тюрьмы, следователя, прокурора угрюмые тюремные сторожа только отворачивались. В исступлении она все еще верила в справедливость, придумывала фантастические планы раздобыть бумаги и карандаш, написать всю правду каким-то высшим властям, справедливым как бог.

Однажды ее разбудили грубые, отрывистые голоса, грохот отворяемой двери. Кто-то входил в соседнюю камеру. Там был заключен человек в очках про него она знала только, что он надрывающе кашляет по ночам. Вскочив, она прислушалась. Голоса за стеной поднимались до крика нестерпимые, торопливые. Надорвались, затихли. В тишине послышался стон, будто кому-то делали больно и он сдерживался, как на зубоврачебном кресле.

Ольга Вячеславовна прижалась в углу, под окном, безумно расширив глаза в темноту. Ей вспомнились рассказы (когда сидела в общей) о пытках... Она, казалось, видела опрокинутое землистое лицо в очках, дряблые щеки, дрожащие от муки... Ему скручивают проволокой кисти рук, щиколотки так, чтобы проволока дошла до кости... Заговоришь, заговоришь, казалось,

расслышала она... Раздались удары, будто выколачивали ковер, не человека... Он молчал... Удар, снова удар... И вдруг что-то замычало... Ага! Заговоришь!.. И уже не мычанье больной вой наполнил всю тюрьму... Будто пыль от этого страшного ковра окутала Ольгу Вячеславовну, тошнота подошла к сердцу, ноги поехали, каменный пол закачался, ударились о него затылком...

Эта ночь, когда человек мучил человека, закрыла тьмой всю ее робкую надежду на справедливость. Но страстная душа Ольги Вячеславовны не могла быть в безмолвии, в бездействии. И после черных дней, когда едва не помутился разум, она, расхаживая по диагонали камеры, нашла спасение: ненависть, мщение. Ненависть, мщение! О, только бы выйти отсюда.

Подняв голову, она глядела на узкое окошечко; пыльные стекла позванивали тихо, высохшие пауки колебались в паутине. Громовыми раскатами вздыхали где-то пушки. (Это на Казань двигалась Пятая Красная. Армия.) Сторож принес обед, сопнув, покосился на окошечко: Калачика вам принес, барышня... Если что нужно только стукнете... Мы завсегда с политическими... Весь день звенели стекла. За дверями вздыхали сторожа. Ольга Вячеславовна сидела на койке, охватив колени. К еде и не притронулась. Было в колени сердце, били громом пушки за окном. В сумерки опять на цыпочках вошел сторож и шопотом: Мы подневольные, а мы всегда за народ...

Около полуночи в тюремных коридорах началось движение, захлопали двери, раздались грозные окрики. Несколько офицеров и штатских, грозя оружием, гнали вниз толпу заключенных человек в тридцать. Ольгу Вячеславовну выволокли из камеры, бегом потащили по лестницам. Она, как кошка, извивалась, силилась укунить за руки. На минуту она увидела ветреное небо в четырехугольнике двора, холод осенней ночи наполнил грудь. Затем низкая дверь, каменные ступени, гнилая сырость подвала, наполненного людьми; конусы света карманных фонариков заматались по кирпичной стене, по бледным лицам, расширенным глазам... Исступленная матерная ругань... Грохнули револьверные выстрелы, казалось повалились подвальные своды... Ольга Вячеславовна кинулась куда-то в темноту... На мгновение в луче фонарика выступило лицо Вальки... Горячо ударило ей в плечо, огненным веретеном просверлило грудь, рвануло за спину... Споткнувшись, она упала лицом в плесень, пахнущую грибами...

Пятая армия взяла Казань, чехи ушли вниз на пароходах, русские дружины рассеялись кто куда, половина жителей в ужасе перед красным террором бежала на край света. Несколько недель по обоим берегам Волги, вздувшейся от осенних дождей, брели одичавшие беглецы с узелком и палочкой, терпели неслыханные лишения. Ушел из Казани и Валька.

Ольга Вячеславовна, наперекор здравому смыслу, осталась жива. Когда из тюремного подвала были вынесены трупы расстрелянных и рядом положены

на дворе под хмуро морозящим небом, над ней присел и тихонько поворачивал ее голову кавалерист в нагольном тулупчике.

А девчонка-то дышит, сказал он. Надо бы, братцы, до врача добежать...

Это был тот самый зубастый, с ястребиными глазами. Он сам перенес девушку в тюремный лазарет, побежал разыскивать в суматохе завоеванного города непременно старорежимного профессора, ворвался на квартиру к одному профессору, сгоряча арестовал его, напугав до смерти, доставил на мотоцикле в лазарет и сказал, указав на бесчувственную, без кровинки в лице, Ольгу Вячеславовну: Чтоб была жива...

Она осталась жива. После перевязки и камфоры приоткрыла синеватые веки и, должно быть, узнала наклонившиеся к ней ястребиные глаза. Поближе, чуть слышно проговорила она, и, когда он совсем придвинулся и долго ждал, она сказала непонятно к чему: Поцелуйте меня... Около койки находились люди, время было военное; человек с ястребиными глазами шмыгнул, оглянулся: Чорт вот ведь. однако не решился, только подправил ей подушку. Кавалериста звали Емельянов, товарищ Емельянов. Она спросила имя и отчество, по имени-отчеству звали Дмитрий Васильевич. Узнав это, закрыла глаза, шевелила губами, повторяя: Дмитрий Васильевич.

Полк его формировался в Казани, и Емельянов каждый день навещал девушку. Должен вам сказать, повторял он ей для бодрости, живучи вы, Ольга Вячеславовна, как гадюка... Поправитесь запишу вас в эскадрон, лично моим вестовым... Каждый день говорил ей об этом, и не надоедало ни ему говорить, ни ей слушать. Он смеялся, блестя зубами, у нее нежная улыбка ложилась на слабые губы. Волосы вам обстригем, сапожки достану легонькие, у меня припасены с убитого гимназиста; на первое время, конечно, к коню ремнем будем прикручивать, чтобы не свалились...

Ольга Вячеславовна действительно была живуча, как гадюка. После всех происшествий от нее, казалось, остались только глаза, но горели они бессонной страстью, нетерпеливой жадностью. Прошлая жизнь осталась на дальнем берегу. Строгий, зажиточный дом отца; гимназия, сентиментальные подруги, снежок на улицах, девичьи увлечения заезжими артистами, обожание, по обычаю, учителя русского языка тучного красавца Воронова; гимназический кружок Герцена и восторженные увлечения товарищами по кружку; чтение переводных романов и сладкая тоска по северным, каких в жизни нет, героиням Гамсуна, тревожное любопытство от романов Маргерита... Неужто все это было? Новое платье к рождественским праздникам, святочная влюбленность в студента, наряженного Мефистофелем, его рожки из черной саржи, набитые ватой... Запах цветов, замерзших на тридцатиградусном морозе... Грустная тишина, перезвон великого поста, слабеющие снега, коричневые на торговых улицах... Тревога

весны, лихорадка по ночам... Дача на Верхнем Услоне, сосны, луга, сияющая Волга, уходящая в беспредельные разливы, и кучевые облака на горизонте... Все это теперь вспоминалось, может быть, только во сне, в теплоте влажной от слез больничной подушки...

В эти сны, так ей представлялось, разъяренной плотью ворвался Валька с пятифунтовой гирей на ремешке. Этого Вальку Брыкина выгнали за хулиганство из гимназии, он ушел добровольцем на фронт и через год опять появился в Казани, щеголяя уланской формой и солдатским Георгием. Рассказывали, что его отец, полицейский пристав Брыкин (тот самый, кто издал знаменитый приказ, чтобы городовым входить в храм божий без усилий), подал прошение командующему войсками округа, умоляя сына своего Вальку услатить на самые передовые позиции, где бы его убили наверное, так как для родительского сердца лучше видеть этого негодяя мертвым, чем живым... Валька был всегда голоден, жаден до удовольствий и смел, как чорт. Война научила его ухваткам, он узнал, что кровь пахнет кисло и только, революция развязала ему руки.

Пятифунтовая гиря его вдребезги разбила радужный ледок Олечкиных снов. До ужаса тонок оказался ледок, а на нем мечталось ей построить благополучие: замужество, любовь, семью, прочный, счастливый дом... Под ледком таилась пучина... Хруснул он и жизнь, грубая и страстная, захлеснула ее мутными волнами.

Ольга Вячеславовна так это и приняла: бешеная борьба (два раза убивали не убили, ни черта она теперь не боялась), ненависть во всю волю души, корка хлеба на сегодня и дикая тревога еще не изведанной любви, это жизнь...

Емельянов садился у койки, она подсовывала под спину подушку, сжимала худыми пальчиками край одеяла и говорила, с невинным доверием глядя ему в глаза:

Я так представляла себе: муж приличный блондин, я в розовом пеньюаре, сидим, оба отражаемся в никелированном кофейнике. И больше ничего!.. И это счастье... Ненавижу эту девчонку... Счастье ждала, ленивая дура, в капоте, за кофейником!.. Вот сволочь!..

Емельянов, упираясь кулаками в ляжки, смеялся над ее рассказами. Олечка, сама того не понимая, силилась вся перелиться в него... У нее было одно сейчас желание: оторвать тело от постели больничной койки. Она обстригла волосы. Емельянов доставил ей короткий кавалерийский полушубок, синие с красным кантом штаны и, как обещал, козловые щегольские сапожки.

В ноябре Ольга Вячеславовна выписалась из больницы. В городе не было ни родных, ни знакомых. Северные тучи неслись над пустынными улицами, заколоченными магазинами, хлестали дождем и снегом. Емельянов бойко месил по грязи из переулка в переулок в поисках жилого помещения. Олечка

плелась за ним на шаг позади в промокшем пудовом полушубке, в сапожках с убитого гимназиста; дрожали коленки, но лучше умереть не отстала бы от Дмитрия Васильевича. Он получил в исполкоме ордер на жилую площадь для товарища Зотовой, замученной белогвардейцами, и подыскивал что-нибудь необыкновенное. Наконец остановился на огромном, с колоннами и зеркальными окнами, особняке купцов Старобогатовых, брошенном хозяевами, и реквизирует его. В необитаемом доме через разбитые окна гулял ветер по анфиладе комнат с расписными потолками и золоченой, уже ободранной мебелью. Позванивали жалобно хрусталики на люстрах. В саду уныло шумели голые липы. Ударом ноги Емельянов отворял двустворчатые двери.

Ну, гляди, навалили, дьяволы, прямо на паркет, в виде протеста...

В парадном зале он разломал дубовый орган во всю стену и дерево снес в угловую комнату с диванами, где жарко натопил камин.

Здесь и чайничек можете вскипятить, и тепло и светло, умели жить буржуи... Он доставил ей жестяной чайник, сушеной моркови заваривать, крупы, сала, картошки все довольствие недели на две, и Ольга Вячеславовна осталась одна в темном и пустом доме, где страшно были печные трубы, будто призраки купцов Старобогатовых надрывались от тоски, сидя на крыше под осенним дождем...

У Ольги Вячеславовны было сколько угодно времени для размышлений.

Садилась на стульчик, глядела на огонь, где начинал запевать чайник, думала о Дмитрие Васильевиче: придет ли сегодня? Хорошо бы пришел, у нее как раз и картошка сварилась. Издали она слышала его шаги по гулким паркетам: входил он веселый, страшноглазый, входила ее жизнь... Отстегивал револьвер и две гранаты, скидывал мокрую шинель, спрашивал, все ли в порядке, нет ли какой нужды.

Главное, чтобы грудной кашель прошел и в мокроте крови не было... К новому году вполне будете в порядке.

Напившись чаю, свернув махорочку, он рассказывал о военных делах, картинно описывал кавалерийские сражения, иногда до того разгорячался, что жутко было глядеть в его ястребиные глаза.

Империалистическая война позиционная, окопная, потому что в ней порыва не было, умирали с тоской, рассказывал он, расставив ноги посреди комнаты и вынув из ножен лезвие шашки. Революция создала конную армию... Понятно вам? Конь это стихия... Конный бой революционный порыв... Вот у меня одна шашка в руке, и я врубаюсь в пехотный строй, я лечу на пулеметное гнездо... Можно врагу вытерпеть этот мой вид? Нельзя... И он в панике бежит, я его рублю, у меня за плечами крылья... Знаете, что такое кавалерийский бой? Несется лава на лаву без выстрела... Гул... И ты как пьяный... Сшиблись...

Пошла работа... Минута, ну две минуты самое большее... Сердце не выдерживает этого ужаса... У врага волосы дыбом... И враг повертывает коней... Тут уж руби, гони... Пленных нет...

Глаза его блистали, как сталь, стальная шашка свистела по воздуху... Ольга Вячеславовна с похолодевшей от волнения спиной глядела на него, упираясь острыми локтями в колени, прижав подбородок к стиснутым кулачкам... Казалось: рассеки свистящий клинок ее сердце, закричала бы от радости: так любила она этого человека...

Зачем же он щадил ее? Неужели в нем была одна только жалость к ней? Жалел сироту, как подобранную на улице собачонку? Иногда, казалось, она ловила его взгляд искоса быстрый, затуманенный не братским чувством... Жар кидался ей в щеки, не знала, куда отвести лицо, метнувшееся сердце валилось в головокружительную пропасть... Но нет, он вытаскивал из кармана московскую газету, садился перед огнем читать вслух фельетон нижний подвал, где гвоздили из души в душу последними словами мировую буржуазию... Не пулей куриным словом доедем... Ай, пишут как, ай, черти! кричал он, топая ногами от удовольствия...

Наступила зима. Здоровье Ольги Вячеславовны поправлялось. Однажды Емельянов пришел к ней рано, до света, велел одеться и повел ее на плац, где преподавал первые законы кавалерийской посадки и обращения с конем. На рассвете падал мягкий снежок, Ольга Вячеславовна скакала по белому плацу, оставляя песчаные следы от копыт. Емельянов кричал: Сидишь, мать твою так, как собака на заборе! Подбери носки, не заваливайся! Ей было смешно, и радостью свистел ветер в ушах, пьянил грудь, на ресницах таяли снежинки.

В слабой девочке таились железные силы: непонятно, откуда что бралось. За месяц обучения на плацу а конном и пешем строю она вытянулась как струна, морозный ветер зарумянил лицо. Поглядеть со стороны, говорил Емельянов, соплей ее перешибешь, а ведь чертенок... И, как чорт, она была красива: молодые кавалеристы крутили носами, задумывались матерые, когда Зотова, тонкая и высокая, с темной ладной шапочкой волос, в полушубке, натуго перехваченном ремнем, позванивая шпорами, проходила в махорочном дыму казармы.

Худые руки ее научились ловко и чутко управлять конем. Ноги, казалось, пригодные только к буржуазным танцам да к шелковым юбкам, развились и окрепли, и в особенности дивился Емельянов ее шенкелям: сталь, чуткость, как клещ сидела в седле, как овечка ходил под ней конь. Обучилась владеть и клинком лихо рубила пирамидку и лозу, но, конечно, настоящего удара у нее не было: в ударе вся сила в плече, а плечики у нее девичьи.

Не глупа была и по части политграмоты. Емельянов боялся за буржуазную

отрыжку, время было тогда суровое. Товарищ Зотова, какую цель преследует рабоче-крестьянская Красная Армия?.. Ольга Вячеславовна выскакивала и без запинки: Борьбу с кровавым капитализмом, помещиками, попами и интервентами за счастье всех трудящихся на земле... Зотова была зачислена бойцом в эскадрон, которым командовал Емельянов. В феврале полк погрузился в теплушки и был брошен на деникинский фронт.

Когда Ольга Вячеславовна, стоя с конем в поводу на грязно-навозном снегу станции, где выгрузились эшелоны, глядела на мрачное в ветреных тучах, угольно-красное и синее зарево весеннего заката и слушала отдаленные раскаты пушек, все недавнее прошлое незабываемой обидой, мстительной ненавистью поднялось в ней. Бро-о-сай курить!.. На коней! раздался голос Емельянова. Легким движением она села в седло, шашка ударила ее по бедру... Теперь не попробуешь рвать рубашку, грозить пятифунтовой гирей, не потащишь под локти в подвал! Ры-ысью марш!.. Заскрипело седло, засвистал сырой ветер, глаза глядели на багровый мрак заката. Кони сорвались с цепей, разве только у океана остановимся, упоительной песней припомнились ей слова любимого друга... Так началась ее боевая жизнь.

В эскадроне все называли Ольгу Вячеславовну женой Емельянова. Но она не была ему женой. Никто бы не поверил, обезживотили бы со смеху, узнай, что Зотова девица. Но это скрывали и она и Емельянов. Считаться женой было понятнее и проще: никто ее не лапал все знали, что кулак у Емельянова тяжелый, несколько раз ему пришлось это доказать, и Зотова была для всех только братишкой.

По обязанности вестового Зотова постоянно находилась при командире эскадрона. В походе ночевала с ним в одной избе и часто на одной кровати: он головой в одну сторону, она в другую, прикрывшись каждый своим полушубком. После утомительных, по полсотне верст, дневных переходов, убрав коня, наскоро похлебав из котла, Ольга Вячеславовна стягивала сапоги, расстегивала ворот суконной рубашки и засыпала, едва успев прилечь на лавке, на печи, с краю кровати... Она не слыхала, когда ложился Емельянов, когда он вставал. Он спал, как зверь мало, будто одним ухом прислушиваясь к ночным шорохам.

Емельянов обращался с ней сурово, ничем не выделял среди бойцов, цепляясь к ней, пожалуй, чаще чем к другим. Она только теперь поняла силу его ястребиных глаз: это было взор борьбы. Добродушие, зубоскальство сошли с него в походе вместе с лишним жиром. После ночного обхода, найдя коней в порядке, бойцов спящими, заставы и часовых на местах, Емельянов входил в избу усталый, крепко пахнувший потом, садился на лавку, чтобы последним усилием стащить набухшие сапоги, и часто так сидел в изнеможении с полустянутым голенищем на одной ноге. Подходил к кровати и на минуту

засматривался в пылающее во сне, обветренное, и женское и детское лицо Ольги Вячеславовны. Глаза его затуманивались, нежная улыбка ложилась на губы. Но за провинности он бы не пощадил.

Зотова везла пакет в дивизию. Над степью, то зеленой, то серо-серебристой от полыни, безоблачное майское небо пело голосами жаворонков. У коня играла селезенка, совсем как иноходец, шел он мягкой рысью. Перебегали желтенькие суслики дорогу. В такое утро можно было забыть, что есть война, враг теснит и обходит, пехотные дивизии, не принимая боя, ломают вагоны, уходят в тыл, в городах голод, по деревням бунты. А весна, как и прежде, убирала красой землю, волновала мечтами. Даже конь, весь потный от худого корма, пофыркивал, подлец, косил лиловым глазом, интересовался побаловаться, поиграть.

Дорога шла мимо полузаросшего осокой пруда, в нем отражался, весь в складках, меловой обрыв. Конь перебил шаг и потянул к воде. Зотова спешила, разнуздав его, и он, войдя по колено, стал пить, но только потянул воду поднял лысую морду и, весь сотрясаясь, громко, тревожно заржал. Сейчас же из лозняков, в конце пруда, ему ответили ржанием. Зотова живо взнуздав, вскочила в седло, вглядываясь, потянула из-за спины ложу карабина. В лозняках заныряли две головы, и на берег выскочили всадники двое. Остановились. Это был разъезд, но чей? Наш или белый?

У одного лошадь нагнула голову, сгоняя слепня с ноги, всадник потянулся за поводом, и на плече его блеснула золотая полоска... Текать! Ольга

Вячеславовна ударила ножами коня, пригнулась, и полетели кустики полыни, сухие репья навстречу... За спиной послышался тяжелый настигающий топот... Выстрел... Она покосилась один из всадников забирал правее, наперерез ей. Конь его, рыжий, донской, махал, как борзая собака... Опять выстрел сзади... Она сорвала со спины карабин, бросила поводья.

Всадник на донце скакал шагах в пятидесяти. Стой, стой! страшно закричал он, размахивая шашкой. Это был Валька Брыкин. Она узнала его, толкнула шенкелем коня навстречу ему, вскинула винтовку, и жгучей ненавистью сверкнул ее выстрел... Донской жеребец, мотая башкой, взвился на дыбы и сразу грохнулся, придавив всадника... Валька! Валька! крикнула она дико и радостно, но в эту минуту на нее сзади наскочил второй всадник. Увидела только его длинные усы, большие глаза, выпученные изумленно: Баба и его занесенная шашка вяло звякнула по стволу карабина Ольги Вячеславовны. Лошадь пронесла его вперед. В руках у нее уже не было карабина должно быть, швырнула его или уронила (впоследствии, рассказывая, она не могла припомнить); ее рука ощутила позывную, тягучую тяжесть выхваченного лезвия шашки, стиснутое горло завизжало, конь разостлался в угон, настиг, и она наотмашь ударила. Усатый лег на гриву, обеими руками держась за

затылок.

Конь, резко дыша, нес Ольгу Вячеславовну по полынной степи. Она увидела, что все еще сжимает рукоять клинка. С трудом, не попадая в ножны, вложила его. Потом остановила лошадь; меловой обрыв, озерцо остались влево, далеко позади. Степь была пустынна, никто не гнался, выстрелы прекратились.

Звенели жаворонки в сияющей синеве, пели добро и сладко, как в детстве.

Ольга Вячеславовна схватилась за рубашку на груди, сжала пальцами горло, испуганно стараясь сдержаться, но ничего не вышло: слезы брызнули, и, плача, она вся затряслась на седле.

Потом, по пути в штаб дивизии, она еще долго сердито вытирала глаза то одним кулачком, то другим.

В эскадроне сто раз заставляли Зотову рассказывать эту историю. Бойцы хохотали, крутили головами, с ног валились от смеха.

Ой, не могу, ой, братцы, смехотища: баба угробила двух мужиков...

Постой, ты Расскажи: значит, он на тебя налетает с затылка и вдруг закричал: Баба!

А велики ли усы-то у него были?

Глаза вылупил, удивился.

И рука не поднялась?

Ну, известное дело.

И ты его тут тук по затылку... Ой, братишки, умру... Вот тебе и кавалер, разлетелся.

Ну, а потом ты что?

Ну, что потом? отвечала Ольга Вячеславовна. Обыкновенно: клинок вытерла и побежала в дивизию с пакетом.

Одно существенное неудобство было в походной жизни: Ольга Вячеславовна не могла преодолеть стыдливости. В особенности досадно ей бывало, когда в жаркий день эскадрон дорывался до реки или пруда; бойцы нагишом, в радугах водяной пыли, с хохотом и гиканьем въезжали в воду на расседланных конях. Зотовой приходилось выбирать местечко отдельно, где-нибудь за кустом, за тростниками. Ей кричали:

Дура девка, ты обвяжись портянкой, айда с нами.

Емельянов строго следил за чистоплотностью и опрятностью. Если у конника прыщ на ягодице, вон из строя, это не боец, говаривал он. Конник, пуще всего береги ж... Если позволяют обстоятельства, летом и зимой обливайся у колодца, четверть часа физических упражнений.

Обливание у колодца тоже бывало затруднительно для нее: приходилось вставать раньше других, бежать по студеной росе, когда в слоистых облаках и туманах еще только брезжило утро пунцовой щелью. Однажды она вытащила жалобно заскрипевшим журавлем ведро ледяной пахучей воды, поставила его

на край колодца, разделась, пожимаясь от сырости, и что-то будто коснулось неслышно ее спины.

Обернулась: на крыльце стоял Дмитрий Васильевич и пристально и странно глядел на нее. Тогда она медленно зашла за колодец и присела так, что видны были только ее немигающие глаза. Будь это любой из товарищей, она бы прикрикнула просто: Что ты, чорт, уставился, отвернись! Но голос ее пересох от стыда и волнения. Емельянов пожал плечами, усмехнулся и ушел.

Случай был незначительный, но все изменилось с той поры. Все вдруг стало сложным, самое простое. Эскадрон остановился на ночевку на горелых хуторах, для сна пришлось одна кровать, как это часто бывало. В эту ночь Ольга Вячеславовна легла на самый краешек, на попону, пахнущую конем, и долго не могла заснуть, хотя и сжимала веки изо всей силы. Все же она не услышала, когда пришел Емельянов. Когда петухи разбудили ее, он, оказывается, спал прямо на полу, у двери... Исчезла простота... В разговорах Дмитрий Васильевич хмурился, глядел в сторону; она чувствовала на его лице, на своем лице одну и ту же напряженную, притворную маску. И все же это время она жила, как пьяная от счастья.

До сих пор Зотова не бывала в настоящем деле. Полк вместе с дивизией продолжал отходить на север. Во время мелких стычек она неизменно находилась при командире эскадрона. Но вот где-то на фронте случилась большая неприятность, о ней тревожно и глухо заговорили. Полк получил приказ прорваться через неприятельскую линию, пройти по тылам и снова прорваться на крайний фланг армии. Впервые Ольга Вячеславовна услышала слово рейд. Выступили немедленно. Эскадрон Емельянова шел первым. К ночи стали в лесу, не разнуздывая коней, не зажигая огня. Теплый дождь шумел по листьям, не было видно вытянутой руки. Ольга Вячеславовна сидела на пне, когда ласковая рука легла на ее плечи; она догадалась, вздохнула, закинула голову. Дмитрий Васильевич, нагнувшись, спросил:

Не заробеешь? Ну, ну, смотри... Ближе ко мне держись...

Потом раздалась негромкая команда, бойцы беззвучно сели на коней. Ольга Вячеславовна свернула наугад и коснулась стремящемся Дмитрия Васильевича. Долго пробирались шагом. Под копытами чавкало, тянуло грибами откуда-то. Затем в непроглядной темноте появились мутные просветы, лес редел.

Справа, совсем близко, метнулись огненные иглы, гулкие выстрелы покатались по чернолесью. Емельянов крикнул протяжно: Шашки вон, марш, марш!.. Мокрые сучья захлестали по лицу, кони теснились, храпели, колени задевали о стволы. И сразу серая, дымная, уходящая вниз поляна разостлалась перед глазами, по ней уже мчались тени всадников. Берег оборвался, Ольга Вячеславовна вонзила шпоры, конь, подобрав зад, кинулся в речку...

Полк прорвался в неприятельский тыл. Скакали во тьме под низкими тучами; степь гудела под копытами пяти сотен коней. На скаку, срываясь, запели трубы горнистов. Приказано было спешиться. По эскадронам роздали погоны и кокарды. Емельянов собрал в круг бойцов.

В целях маскировки мы теперь сводный полк северо-кавказской армии генерал-лейтенанта барона Врангеля. Запомнили, курьи дети? (Бойцы заржали.) Кто там смеется, в зубы, молчать, я вам теперь не товарищ командир, а его высокоблагородие господин капитан. (Он чиркнул спичкой, на плече его блеснул золотой погон с одним просветом.) Вы теперь не товарищи, а нижние чины. Тянуться, козырять, выкать. Мо-о-ол-чать, руки по швам! Поняли? (Весь эскадрон грохотал: вытягивались, козыряли, к ваше высокоблагородие пристегивали разные простые словечки.) Пришивайте погоны, звезду в карман, кокарду на фуражку...

Три дня мчался замаскированный полк по врангельскому тылу. Столбы черного дыма поднимались по его следам горели железнодорожные станции, поезда, военные склады, взлетали на воздух водокачки и пороховые погреба. На четвертые сутки кони приустали, начали спотыкаться, и в глухой деревеньке был сделан дневной привал. Ольга Вячеславовна убрала коня и тут же, не перешагнув через ворох сена, повалилась, заснула. Разбудил ее громкий женский смех, свежая бабенка в подоткнутой над голыми икрами черной юбке сказала кому-то, указывая на Зотову: Какой хорошенький... Бабенка вешала на дворе вымытые портянки.

Когда Ольга Вячеславовна вошла в избу, у стола сидел Емельянов, заспанный, веселый, в волосах пух, ноги босые. Значит его портянки были стираны Садись, сейчас борщ принесут. Хочешь водки? сказал он Ольге Вячеславовне. Та же свежая бабенка вошла с чугуном борща, отворачивая от пахучего пара румяную щеку. Стукнула чугуном под самым носом Емельянова, повела потным плечом:

Точно ждали мы вас, уж и борщ... Голос у нее был тонкий, нараспев, бойка, нагла... Портяночки ваши выстирала, не успеете оглянуться высохнут... и сучьими глазами мазнула по Дмитрию Васильевичу.

Он одобрительно покрывал, хлебая, весь какой-то сидел мягкий.

Ольга Вячеславовна положила ложку; лютая змея ужалила ей сердце, помертвела, опустила глаза. Когда бабенка вывернулась за дверь, она догнала ее в сенях, схватила за руку, сказала шопотом, задыхаясь:

Ты что: смерти захотела?..

Бабенка ахнула, с силой выдернула руку, убежала.

Дмитрий Васильевич несколько раз изумленно поглядывал на Ольгу Вячеславовну: какая ее муха укусила? А когда садился на коня, увидел ее

свирепые потемневшие глаза, раздутые ноздри и из-за угла сарая испуганно выглядывающую, как крыса, простоволосую бабенку, и все понял, расхохотался по-давшишнему всем белым оскалом зубов. Выезжая из ворот, коснулся коленом Олечкиного колена и сказал с неожиданной лаской:

Ах ты, дурочка...

У нее едва не брызнули слезы.

На пятый день было обнаружено, что целая казачья дивизия преследует по пятам замаскированный красный полк. Теперь уходили полным ходом, бросая измученных коней. Когда настала ночь, завязался арьергардный бой.

Полковое знамя было передано первому эскадрону. Не останавливаясь, влетели в какое-то, без огней, темное село. Стучали рукоятками шашек в ставни. Были собаки, все кругом казалось вымершим, только на колокольне бухнул колокол и затих.

Привели двух мужиков, нашли их в соломе, лохматых, как лешие. Оглядываясь на конников, они повторяли только:

Братцы, голубчики, не губите...

За белых ваше село или за советскую власть? нагнувшись с седла, закричал Емельянов.

Братцы, голубчики, сами не знаем... Все у нас взяли, пограбили, все разорили...

Все же удалось от них допытаться, что село пока не занято никем, что ждут действительно казаков Врангеля и что за рекой, за железнодорожным мостом, в окопах находятся большевики. Полк снял погоны, нацепил звезды и перешел через мост на свою сторону. Здесь выяснилось, что по всему фронту белые наступают как бешеные и этот мост велено защищать хоть сдохни; а воевать нечем: пулеметные ленты к пулеметам не подходят, в окопах вши, хлеба нет, красноармейцы от вареного зерна распухли до последней степени, как ночь разбегаются, агитатор был, да помер от поноса.

Командир полка соединился по прямому проводу с главковоерхом: действительно было велено защищать мост до последней капли крови, покуда армия не выйдет из окружения.

Живыми отсюда не уйдем, сказал Емельянов.

Он зачерпнул из реки два котелка, один подал Ольге Вячеславовне и, присев около нее, вглядывался в неясное очертание дальнего берега. Мутная, желтоватая звезда стояла над рекой. Весь день врангелевские батареи частым огнем разрушали окопы большевиков. А вечером пришел приказ: форсировать мост, отбросить белых от реки и занять село.

Ольга Вячеславовна глядела на мутноватый неподвижный след звезды на реке, в нем была тоска.

Ну, пойдем, Оля, сказал Дмитрий Васильевич, надо поспать часик. В первый

раз он назвал ее по имени.

Из кустов на крутой берег выползали с котелками воды крадущиеся фигурки бойцов: весь день к реке не было подступа, никто не пил ни капли. Все уже знали о страшном приказе. Для многих эта ночь казалась последней.

Поцелуй меня, с тихой тоской сказала Ольга Вячеславовна.

Он осторожно поставил котелок, привлек ее за плечи, у нее упала фуражка, закрылись глаза, и стал целовать в глаза, в рот, в щеки.

Женой бы тебя сделал, Оля, да нельзя сейчас, понимаешь ты...

Ночные атаки были отбиты. Белые укрепили мост, запутав конец его проволокой, и били вдоль него из пулеметов. Серое утро занялось над дымящейся рекой, над сырыми лугами. Земля на обоих берегах взлетала поминутно, будто вырастали черные кусты. Воздух выл и визжал, плотными облачками рвалась шрапнель. От грохота дурели люди. Множество уткнувшихся, раскинутых тел валялось близ моста. Все было напрасно. Люди не могли больше идти на пулеметный огонь.

Тогда за железнодорожной насыпью восемь коммунаров съехались под полковое знамя; разорванное и простреленное, оно на рассвете казалось кровавого цвета. Два эскадрона сели на коней. Полковой командир сказал: Нужно умереть, товарищи, и шагом отъехал под знамя. Восьмым был Дмитрий Васильевич. Они обнажили шашки, вонзили шпоры, выехали из-за насыпи и тяжелым карьером поскакали по гулким доскам моста.

Ольга Вячеславовна видела: вот конь одного повадился на перила, и конь и всадник полетели с десятисаженной высоты в реку. Семеро достигли середины моста. Еще один, как сонный, свалился с седла. Передние, доскавав, рубили шашками проволоку. Рослый знаменосец закачался, знамя поникло, его выхватил Емельянов, и сейчас же конь его забился.

Горячо пели пули. Ольга Вячеславовна мчалась по щелястым доскам над головокружительной высотой. Вслед за Зотовой загудели, затряслись железные переплеты моста, заревело полтора глотка. Дмитрий Васильевич стоял, широко раздвинув ноги, держал древко перед собой, лицо его было мертвое, из раскрытого рта ползла кровь. Проскакивая, Ольга Вячеславовна выхватила у него знамя. Он шатнулся к перилам, сел. Мимо пронеслись эскадроны гривы, согнутые спины, сверкающие клинки.

Все прорвалось на ту сторону; враг бежал, пушки замолкли. Долго еще над лавой всадников вилось по полю и скрылось за ветлами села в клочья изодранное знамя; с ним теперь уже скакал, колотя лошадь голыми пятками, широкомордый парень-красноармеец, размахивая древком, кричал: Вали, вали, бей их!..

Ольгу Вячеславовну подобрали в поле; она была оглушена падением и сильно поранена в бедро. Товарищи по эскадрону очень жалели ее: не знали, как ей и

сказать, что Емельянов убит. Послали депутацию к командиру полка, чтобы Зотову наградили за подвиг. Долго думали чем? Портсигар не курит, часы не бабье дело носить. У одного конника нашли в вещевом мешке брошку из чистого золота: стрела и сердце. Командир полка без возражения согласился на эту награду, но в приказе выразился с оговоркой: Зотову за подвиг наградить золотой брошью стрела, но сердце, как буржуазную эмблему, убрать...

Как птица, что мчится в ветреном, в сумасшедшем небе и вдруг с перебитыми крыльями падает клубком на землю, так вся жизнь Ольги Вячеславовны, страстная, невинная любовь, оборвалась, разбилась, и потянулись ей не нужные, тяжелые и смутные дни. Долгое время она валялась по лазаретам, эвакуировалась в гнилых теплушках, замерзала под шинелишкой, умирала с голоду. Люди были незнакомые, злые, для всех она была номер такой-то по лазаретной ведомости, во всем свете никого близкого. Жить было тошно и мрачно, и все же смерть не взяла ее.

Когда выписалась из лазарета, наголо стриженная, худая до того, что шинель и голенища болтались на ней, как на скелете, пошла на вокзал, где жили и мерли в залах на полу какие-то, на людей не похожие люди. Куда было ехать? Весь мир как дикое поле. Вернулась в город, на сборочный пункт к военкому, предъявила документы и наградную брошь-стрелку и вскоре с эшелоном уехала в Сибирь воевать.

Стук вагонных колес, железный жар печурки в сизом дыму, тысячи, тысячи верст, долгие, как путь, песни, вонь и загаженный снег казармы, оружие буквы военных плакатов и чорт знает каких афиш и извещений клочья бумаги, шелестящие на морозе, мрачные митинги среди бревенчатых стен в полумраке коптящей лампы, и опять снега, сосны, дымы костров, знакомый звук железных бичей, стужа, сгоревшие села, кровавые пятна на снегу, тысячи, тысячи трупов, как раскиданные дрова, заносимые поземкой... Все это путалось в ее воспоминаниях, сливалось в один долгий свиток нескончаемых бедствий.

Ольга Вячеславовна была худа и черна; могла пить автомобильный спирт, курила махорку и, когда надо, ругалась не хуже других. За женщину ее мало кто признавал, была уж очень тоща и зла, как гадюка. Был один случай, когда к ней ночью в казарме подкатил браток, бездомный фронтовик с большими губами Губан и попросил у нее побаловаться, но она с внезапным остервенением так ударила его рукояткой нагана в переносье, что братка увели в лазарет. Этот случай отбил охоту даже и думать о Гадючке...

Весной занесло ее во Владивосток. В жизни в первый раз она увидела океан синий, темный, живой. Бежали, стремились к берегу длинные гривы пены,

поднимались волны еще на горизонте и, добежав, били в мол, взлетали жидким облаком. Ольга Вячеславовна захотела уйти на корабле... Ожили в воспоминаниях картинки, над которыми мечталось в детстве: берега с невиданными деревьями, горные пики, луч солнца из необъятных облаков и тихий путь кораблика... Проплыть мимо мыса Бурь, посидеть, пригорюнясь на камешке у реки Замбези... Все это был, конечно, вздор. Никто не принял на корабль, только в портовом тайном кабачке старый лоцман, приняв ее за проститутку и с пьяными слезами пожалев за погибшую молодость, нататуировал на ее руке якорь. Помни, сказал, это надежда на спасение... Потом кончилась война. Ольга Вячеславовна купила на базаре юбку из зеленой плюшевой занавески и пошла служить по разным учреждениям; машинисткой при исполкоме, секретаршей в Главлесе или так, писчебумажной барышней, переезжающей вместе с письменным столом из этажа в этаж.

На месте долго не засиживалась, все время передвигалась из города в город поближе к России. Думалось: проехать бы по тому мосту, над тем берегом, где, зачерпнув в реке котелок, в последний раз сидел с ней Дмитрий Васильевич... Нашла бы и тот куст ракитовый, и место примятое, где сидели...

Прошное не забывалось. Жила одиноко, сурово. Но военная жесткость понемногу сходила с нее, Ольга Вячеславовна снова становилась женщиной...

В двадцать два года нужно было начинать третью жизнь. То, что теперь происходило, она представляла как усилие запрячь в рабочий хомут боевых коней. Потрясенная страна еще вся щетинилась, глаза, еще налитые кровью, искали что разрушить, а уже повсюду, отгораживая от вчерашнего дня, забелели листочки декретов, призывающих чинить, отстраивать, строить. Она читала и слышала об этом, и ей казалось, что это труднее войны. Города, где она проживала, были разрушены с неистовой яростью, все покривилось и повалилось, крапивой заросли пожарища, человек жил под одной рогожкой. Человек ел и спал, и во сне все еще грезились ему видения войны. Творчество выражалось в производстве банных веников и глиняной посуды, такой же, как в прашуровские времена.

Листочки декретов звали восстанавливать и творить. Чьими руками? Своими же, вот этими все еще скрюченными, как лапа хищной птицы... Ольга Вячеславовна в часы заката любила бродить по городу, вглядывалась в недоверчивые, мрачные лица людей с неразглаженными морщинами гнева, ужаса и ненависти, она хорошо знала эту судорогу рта, эти обломки, дыры на месте зубов, съеденных на войне. Все побывали там от мальчика до старика... И вот бродят по загаженному городу, в кисло пахнущей одежде из мешков, из буржуйских занавесок, в разбитых лаптях, взъерошенные, готовые

ежеминутно заплакать или убить...

Листки декретов настойчиво требуют творчества, творчества, творчества... Да, это потруднее, чем пироксилиновой шашкой взорвать мост, в конном строю изрубить прислугу на батарее, выбить шрапнелью окна в фабричном корпусе... Ольга Вячеславовна останавливалась у покосившегося забора перед пестрым плакатом. Кто-то уже перекрестил его куском штукатурки, нацарапал похабное слово. Она рассматривала лица, каких не бывает, развевающиеся знамена, стоэтажные дома, трубы, дымы, восходящие к пляшущим буквам: индустриализация... Она была девственно впечатлительна и мечтала у нарядного плаката, ее волновало величие этой новой борьбы.

Закат мрачнел: последнее неистовство его красок, пробившись из-под свинцовой тучи, зажигало осколки стекол в зияющих пустынных домах. Изредка брел прохожий, грызя семечки, плюя в грязь разъезженной улицы, где валялись ржавые листы и ощеренная кошачья падаль. Семечки, семечки... Досуг человека заполнялся движением челюстей, мозг дремал в сумерках. В семечках был возврат к бытию до каменного топора. Ольга Вячеславовна сжимала кулачки, она не могла мириться с тишиной, с семечками, банными вениками и огромными пустырями захолюстья.

Ей удалось получить командировку в Москву; она приехала туда в зеленой юбке из плюшевой портьеры, полная решимости и самоотвержения. К житейским лишениям Ольга Вячеславовна относилась спокойно: бывало с ней и похуже. Первые недели в Москве ютилась где попадетсЯ, затем получила комнату в коммунальной квартире, в Зарядьи. После заполнения анкет и подачи многочисленных заявлений, сразу притихшая от величайшей сложности прохождения всех ее бумаг, от шума многоэтажных, гудящих, как улей, учреждений, она поступила на службу в отдел контроля Треста цветных металлов, у нее было чувство воробья, залетевшего в тысячеколесный механизм башенных курантов. Она поджала хвост. Минута в минуту приходила на службу. Присматривалась и робела, потому что никакими усилиями ума не могла определить степень пользы, которую приносила, переписывая бумажки. Здесь ни к чему были ее ловкость, ее безрассудная смелость, ее гадючья злость. Здесь только постукивали ундервуды, как молоточки в ушах в сыпнотифозном бреде, шелестели бумаги, бормотали в телефонные трубки хозяйственные голоса. То ли было на войне: ясно, отчетливо, под пение пуль всегда к видимой цели...

Затем, разумеется, она попривыкла, обошлась, разгладила шерстку. Побежали дни, рабочие, однообразные, спокойные. Чтобы не утонуть с головой в этом забвении канцелярий, она стала брать на себя общественную нагрузку. В клубную работу она внесла дисциплину и терминологию эскадрона. Ее пришлось удерживать от излишней резкости.

Первый щелчок она получила от помзава, сидевшего сбоку от нее, по другую сторону двери, ведущей в кабинет зава. Произошло это по случаю курения махорки. Помзав сказал:

Удивляюсь вам, товарищ Зотова: такая в общем интересная женщина и провоняли все помещение махоркой... Женственности, что ли, в вас нет...

Курили бы Яву.

Должно быть, это пустячное замечание пришлось как раз во-время. Ольге Вячеславовне стало неприятно, потом больно до слез. Уходя со службы, она остановилась на лестничной площадке перед зеркалом и, впервые за много лет, по-женски оглядела себя: Чорт знает, что такое огородное чучело.

Протертая плюшевая юбка спереди вздернута, сзади сбита в махры каблуками, мужские штиблеты, ситцевая серая кофта... Как же это случилось? Две пишбарышни в соблазнительных юбочках и розовых чулочках, пробегая мимо, оглянулись на Зотову, дико стоящую перед зеркалом, и ниже площадкой фыркнули со смеху: можно было разобрать только: ...лошади испугаются...

Кровь прилила к прекрасному цыганскому лицу Ольги Вячеславовны... Одна из этих пишбарышень жила в той же квартире на Зарядьи, звали ее Сонечка Варенцова.

Спустя несколько дней женщины, населявшие квартиру на Псковском переулке (что на Зарядьи), были изумлены странной выходкой Ольги Вячеславовны. Утром, придя на кухню мыться, она уставилась блестящими глазами, как гадюка, на Сонечку Варенцову, варившую кашку. Подошла и, указывая на ее чулки: Это где купили? задрала Сонечкину юбку и, указывая на белье: А это где купили? И спрашивала со злобой, словно рубила клинком. Сонечка, нежная от природы, испугалась ее резких движений. Выручала Роза Абрамовна: мягким голосом подробно объяснила, что эти вещи Ольга Вячеславовна сумеет достать на Кузнецком Мосту, что теперь носят платья шемиз, чулки телесного оттенка и прочее и прочее...

Слушая, Ольга Вячеславовна кивала головой, повторяла: Есть. Так... Поняла... Затем схватилась за Сонечкину светленькую кудряшку, хотя это была и не конская грива, а нежнейшая прядь:

А это как чесать?

Безусловно стричь, мое золотко, пела Роза Абрамовна, сзади коротко, спереди с пробором на уши...

Петр Семенович Морш, зайдя на кухню, прислушался и отмочил, как всегда, самодовольно блестя черепом:

Поздненько вы делаете переход от военного коммунизма, Ольга Вячеславовна...

Она стремительно обернулась к нему (впоследствии он рассказывал, что у нее даже лязгнули зубы) и проговорила не громко, но внятно:

Сволочь недорезанная! Попался бы ты мне в поле...

В управлении Треста цветных металлов все растерялись в первую минуту, когда Зотова явилась на службу в черном, с короткими рукавами, шелковом платье, в телесных чулках и лакированных туфельках: каштановые волосы ее были подстрижены и блестели, как чернобурый мех. Она села к столу, низко опустила голову в бумаги, уши у нее горели.

Помзав, молодой и наивный парень, ужасно вылупился, сидя под бешено трещащим телефоном:

Елки-палки, сказал он, это откуда же взялось?

Действительно, Зотова до жути была хороша: тонкое, изящное лицо со смуглым пушком на щеках, глаза как ночь, длинные ресницы... Руки отмыла от чернил, одним словом крути аппарат. Даже зав высунулся, между прочим, из кабинета, уколол Зотову свинцовым глазом.

Ударная девочка, впоследствии выразился он про нее.

Прибегали глядеть на нее из других комнат. Только и было разговоров, что про удивительное превращение Зотовой.

Когда прошло первое смущение, она почувствовала на себе эту новую кожу легко и свободно, как некогда гимназическое платье или кавалерийский шлем, туго стянутый полущубок и шпоры. Если уж слишком пялились мужчины, она, проходя, опускала ресницы, словно прикрывала душу.

На третий день, в пять часов, когда Зотова оторвала кусок промокашки и, помусолив ее, отчищала на локте чернильное пятно, к ней подошел помзав Иван Федорович Педотти, молодой человек, и сказал, что им нужно поговорить крайне серьезно. Ольга Вячеславовна чуть подняла красивые полоски бровей, надела шляпу, они вышли.

Педотти сказал:

Проще всего зайти ко мне, это сейчас за углом.

Зотова чуть пожала плечиком. Пошли. Жарким ветром несло пыль. Взлезли на четвертый этаж, Ольга Вячеславовна первая вошла в его комнату, села на стул.

Ну? спросила она. О чем вы хотели со мной говорить?

Он швырнул портфель на кровать, взъерошил волосы и начал гвоздить кулаком непроветренный воздух в комнате.

Товарищ Зотова, мы всегда подходим к делу в лоб, прямо... В ударном порядке... Половое влечение есть реальный факт и естественная потребность... Романтику всякую там давно пора выбросить за борт... Ну вот... Предварительно я все объяснил... Вам все понятно...

Он обхватил Ольгу Вячеславовну подмышки и потащил со стула к себе на грудь, в которой неистово, будто на краю неизъяснимой бездны, колотилось его неученое сердце. Но немедленно он испытал сопротивление, Зотову не так-то легко оказалось стащить со стула: она была тонка и упруга... Не смутившись, почти спокойно, Ольга Вячеславовна сжала обе его руки у запястий и так свернула их, что он громко охнул, рванулся и, так как она продолжала мучительство, закричал:

Больно же, пустите, ну вас к дьяволу!..

Вперед не лезь, не спросившись, дурак, сказала она.

Отпустила Педотти, взяла со стола из коробки папиросу Ява, закурила и ушла...

Ольга Вячеславовна всю ночь ворочалась на постели... Садилась у окна, курила, снова пыталась зарыться головой под подушки... Припомнилась вся жизнь... все, что казалось навек задремавшим, ожило, затосковало. Вот была чортова ночка... зачем, зачем? Неужели нельзя прожить прохладной, как ключевая водица, без любовной лихорадки? И чувствовала, содрогаясь: уж, кажется, жизнь била ее и толкла в ступе, а дури не выбила, и это, конечно, теперь начнется... Не обойтись, не уйти...

Утром, идя мыться, Ольга Вячеславовна услышала смех на кухне и голос Сонечки Варенцовой:

...Поразительно, до чего она ломается... Противно даже смотреть... Тронуть, видите ли, ее нельзя, такая разборчивая... При заполнении анкеты прописала вот такими буквами: девица... (Смех, шипение примусов.) А все говорят: просто ее возили при эскадроне... Понимаете? Жила чуть не со всем эскадроном...

Голос Марьи Афанасьевны, портнихи:

Безусловный люис... По морде видно.

Голос Розы Абрамовны:

А выглядывает что тебе баронесса Ротшильд.

Басок Петра Семеновича Морша:

Будьте с ней поосторожнее, гадюку эту я давно раскусил... Она карьеру сделает глазом не моргнете...

Возмущенный голос Сонечки Варенцовой:

Вы уж, знаете, и брякнете всегда, Петр Семенович... Успокойтесь, не с такими данными делают карьеру...

Ольга Вячеславовна вошла на кухню, все замолкли. Взор ее остановился на Сонечке Варенцовой, и проступившие морщинки у рта изобразили такую высшую меру брезгливости, что женщины заклокотали. Но крика никакого не вышло на этот раз.

После случая с Педотти, возненавидевшим ее со всей силой высеченного мужского самолюбия, вокруг Зотовой образовалась молчаливая враждебность женщин, насмешливое отношение мужчин. Ссориться с ней опасались. Но она затылком чувствовала провожающие недобрые взгляды. За ней укреплялись клички: гадюка, клейменная и эскадронная шкура, она расслышивала их в шепотке, читала на промокашке. И всего страннее, что весь этот вздор она воспринимала болезненно... Будто бы можно было закричать им всем: Я же не такая...

Недаром когда-то Дмитрий Васильевич назвал ее цыганочкой. С темной тоской она начинала замечать, что в ней снова, но уже со зрелой силой, просыпаются желания... Ее девственность негодовала... Но что было делать? Мыться с ног до головы под краном ледяной водой? Слишком больно обожглась, страшно бросаться в огонь еще раз... Это было не нужно, это было ужасно...

Ольга Вячеславовна всего минуту глядела на этого человека, и все существо ее сказало: он... Это было необъяснимо и катастрофично, как столкновение с автобусом, выгромахнувшим из-за угла...

Человек в парусиновой толстовке, рослый и, видимо, начинающий полнеть, стоял на лестничной площадке и читал стенгазету. Мимо, из двери в дверь, вниз и вверх по лестнице, бегали служащие. Пахло пылью и табаком. Все было обычно. Человек с ленивой улыбкой рассматривал в центре стенгазеты карикатуру на хозяйственного директора Махорочного треста (помещавшегося этажом выше). Так как Ольга Вячеславовна тоже задержалась у газеты, он обернулся к ней и, указывая на карикатуру (кисть руки его была тяжелая, большая, красивая):

Вы, кажется, в редакции, товарищ Зотова? (Голос его был сильный и низкий.) Изображайте меня в хвост и в гриву, я не против... Но это же никому не нужно, это мелочь, это не талантливо!

На карикатуре его изобразили со стаканом чая между двумя трещащими телефонами. Острота заключалась в том, что он в служебные часы любит попивать чай в ущерб деятельности...

Больно укусить побоялись, а тявкнули по-лакейски... Ну что же, что чай... В девятнадцатом году я спирт пил с кокаином, чтобы не спать...

Ольга Вячеславовна взглянула ему в глаза: серые, холодноватые, цвета усталой стали, они чем-то напоминали те, любимые, навек погасшие... Чисто выбритое лицо правильное, крупное, с ленивой и умной усмешкой... Она вспомнила: в девятнадцатом году он был в Сибири продовольственным диктатором, снабжал армию, на десятки тысяч верст его имя наводило ужас... Такие люди ей представлялись несущими голову в облаках... Он тасовал

события и жизни, как колоду карт... И вот с портфелем, с усталой улыбкой и мимо бежит порожденная им жизнь, толкая его локтями...

Так все мельчить неумело, опять сказал он, можно всю революцию свести к дешевеньким карикатуркам... Значит, старики сделали дело и на свалку... Жалованье получили, теперь пойдем пиво пить... Молодежь-то хороша, да вот от прошлого отрываться опасно.... Сегодняшним днем только эфемериды живут, однодневки... Так-то...

Он ушел. Ольга Вячеславовна глядела ему на сильный затылок, на широкую спину, медленно поднимающуюся по каменным ступеням в помещение Махорочного треста, и ей казалось, что он делает большое усилие, чтобы не согнуться под тяжестью дней... Ей пронзительно стало его жалко... А, как известно, жалость...

При первом случае, с бумажкой от месткома Ольга Вячеславовна поднялась в мрачные комнаты Махорочного треста и вошла в кабинет хозяйственного директора. Он мешал ложечкой в стакане с чаем, на портфеле его лежала сдобная плюшка. У окна шибко стучала пишбарышня. Ольга Вячеславовна так волновалась, что не обратила на нее внимания, видела только его стальные глаза. Он прочел поданную ею бумажку, подписал. Она продолжала стоять. Он сказал:

Все, товарищ... Идите.

Это было действительно все... Когда Ольга Вячеславовна затворяла за собой дверь, показалось, что пишбарышня хихикнула. Теперь оставалось только сходить с ума... Ведь гирькой второй раз уже не стукнут, не расстреляют в подвале, он не вынесет ее на руках, не сядет у койки, не пообещает сапожки с убитого гимназиста...

Эту ночь провела так, что лучше не вспоминать. Наутро жильцы разглядывали ее комнату в замочную скважину, и тогда-то именно Петр Семенович Морш предложил дунуть из трубочки граммов десять йодоформу: Бесится наша гадюка-то, сказали на кухне. Сонечка Варенцова загадочно усмехнулась, в голубеньких глазках ее дремало спокойствие непоколебимой уверенности. Преодолеть застенчивость труднее, чем страх смерти; но недаром Ольга Вячеславовна прошла боевую школу: надо стало быть, надо. Ожидать случая, счастья, действовать по мелочам, где мелькнуть телесными чулочками, где поспешно выдернуть голое плечико из платья, было не по ней. Решила: прямо пойти и все сказать ему: пусть что хочет, то и делает с ней... А так жизни нет. Несколько раз она сбегала вслед за ним по лестнице, чтобы здесь же, на улице, схватить его за рукав: Я люблю вас, я погибаю... Но каждый раз он садился в автомобиль, не замечая Зотовой среди других служащих... В эти как раз дни она запустила в Журавлева горящим примусом. Коммунальная квартира насыщалась грозovým электричеством. Сонечка Варенцова

нервничала и уходила из кухни, заслышав шаги Зотовой... Шутник Владимир Львович Понизовский проник при помощи подобранный ключа в комнату Зотовой и положил ей под матрац платяную щетку, но она так и проспала ночь, ничего не заметив.

Наконец он пошел пешком со службы (автомобиль был в ремонте). Ольга Вячеславовна догнала его, резко и грубовато окликнула во рту, в горле пересохло. Пошла рядом, не могла поднять глаз, ступала неуклюже, топорщила локти. Секунда разлилась в вечность, ей было жарко, и зябко, и нежно, и злобно. А он шел равнодушный без улыбки, строгий...

Дело в том...

Дело в том, сейчас же перебил он с брезгливостью, мне про вас говорят со всех сторон... Удивляюсь, да, да... Вы преследуете меня... Намеренье ваше понятно, пожалуйста, не лгите, объяснения мне не нужно... Вы только забыли, что я не нэпман, слюней при виде каждого смазливый личика не распускаю. Вы показали себя на общественной работе с хорошей стороны. Мой совет выкиньте из головы мечты о шелковых чулочках, пудрах и прочее... Из вас может выйти хороший товарищ...

Не простившись, он перешел улицу, где на тротуаре около кондитерской его взяла под руку Сонечка Варенцова. Пожимая плечиками, возмущаясь, она начала что-то ему говорить. Он продолжал брезгливо морщиться, высвободил свою руку и шел, опустив тяжелую голову. Облако бензиновой гари от автобуса скрыло их от Ольги Вячеславовны.

Итак, героиней оказалась Сонечка Варенцова. Это она подробно информировала хозяйственного директора Махорочного треста о прошлой и настоящей жизни эскадронной шкуры Зотовой. Сонечка торжествовала, но трусила ужасно...

В воскресное утро, уже описанное нами выше, когда скрипнула дверь Ольги Вячеславовны, Сонечка бросилась к себе и громко заплакала, потому что ей стало невыносимо обидно жить в постоянном страхе. Вымывшись, Ольга Вячеславовна произнесла неизвестно к чему: Ах, это чорт знает что дважды на кухне и возвращаясь к себе в комнату, после чего она ушла со двора.

На кухне опять собрались жильцы: Петр Семенович в воскресных брюках и в новом картузике с белым верхом. Владимир Львович небритый и веселый с перепоем. Роза Абрамовна варила варенье из мирабелы. Марья Афанасьевна гладила блузку. Болтали и острили. Появилась Сонечка Варенцова с запухшими глазками.

Я больше не могу, сказала она еще в дверях, это должно кончиться наконец... Она меня обольет купоросом...

Владимир Львович Понизовский предложил сейчас же настричь щетины от платяной щетки и каждый день сыпать в кровать гадюке, не выдержит, сама

съедет. Петр Семенович Морш предложил химическую оборону сероводородом или опять тот же йодоформ. Все это были мужские фантазии. Одна Марья Афанасьевна сказала дело: Хотя вы и на редкость скрытная, Лялечка, но признайтесь: с директором у вас оформлена связь?

Да, ответила Лялечка, третьего дня мы были в загсе... Я даже настаивала на церковном, но это пока еще невозможно...

Поживем увидим, блеснув лысиной, проскрипел Петр Семенович. Так этой гадине ползучей, Марья Афанасьевна потрясла утюгом, этой маркитантке вы в морду швырните загсово удостоверение.

Ой, нет... Ни за что на свете... Я так боюсь, такие тяжелые предчувствия... Мы будем стоять за дверью... Можете ничего не бояться...

Владимир Львович, радостный с перепоею, заблеял баранчиком... Станем за дверью, вооруженные орудиями кухонного производства. Лялечку уговорили.

Ольга Вячеславовна вернулась в восемь часов вечера, сутулая от усталости, с землистым лицом. Заперлась у себя, села на кровать, уронив руки в колени... Одна, одна в дикой, враждебной жизни, одинока, как в минуту смерти, не нужна никому... Со вчерашнего дня ею все сильнее овладевала странная рассеянность. Так сейчас она увидела в руках у себя велодок и не вспомнила, когда сняла его со стены. Сидела, думала, глядя на стальную смертельную игрушку...

В дверь постучали, Ольга Вячеславовна сильно вздрогнула. Постучали сильнее. Она встала, распахнула дверь. За ней в темноту коридора, толкаясь, шарахнулись жильцы, кажется, в руках у них были щетки, кочерги... В комнату вошла Варенцова, бледная, с поджатыми губами. Сразу же заговорила срывающимся на визг голосом: Это совершенное бесстыдство лезть к человеку, который женат... Вот удостоверение из загса... Все знают, что вы с венерическими болезнями... И вы с ними намерены делать карьеру... Да еще через моего законного мужа... Вы сволочь! Вот удостоверение...

Ольга Вячеславовна глядела как слепая на визжавшую Сонечку... И вот волна знакомой дикой ненависти подкатила, стиснула горло, все мускулы напряглись как сталь... Из горла вырвался вопль... Ольга Вячеславовна выстрелила и продолжала стрелять в это белое, заматавшееся перед ней лицо...